

вечный Блюмкин в чёрной бурке. Он вытянул руку с пистолетом в сторону Осипа, и тот закрыл глаза.

А потом — расставание с Надей. В Коктебеле тревожно, голодно. Кафе «Бубны» разнесено ударом снаряда с английского крейсера. Вечными были море, камни, на скале Карадага природой сотворённый профиль Макса, похожего на греческого бога. Осип счастлив — стихи пишутся: «Когда я пишу стихи, никто ни в чём мне не отказывает». А нужно ему немного — книга, чашка кофе, хорошо бы пирожное...

Там, в Коктебеле, его увидел пьяный казацкий есаул — жидов искал. Перепуганный Мандельштам показал на Волошина: «Арестуйте лучше его». Он нелеп, он, как сказал Макс, «в полном забвении чувств».

Волошин не мог долго сердиться на него:

— Когда я умру, потомки спросят моих современников: «Понимали ли вы стихи Мандельштама?» Нет, мы не понимали его стихов. «Кормили ли вы Мандельштама, давали ли вы ему кров?» Да, мы кормили Мандельштама, мы давали ему кров. «Тогда вы прощены».

Осипа арестовывали и выпускали, и он уверовал в то, что стихи спасают его. Он «не готов к смерти», не понимает, как можно «жизнь отжить... и безымянным камнем кануть...»

Потом в Москве его будут уговаривать принять литовское подданство. Но он мог жить только там, где говорят по-русски.

В Тифлисе писались лёгкие, как молодое вино, стихи:

*И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...*

С Тицианом Табидзе и Паоло в Веррийских садах Осип наслаждался стихами и вином. Синеглазый Тициан носил в петлице красную гвоздику.

В октябре 1920 года Мандельштам вернулся в родной Петроград — простуженный, в летнем пальто. Зато в клеёчатом саквояже — рукопись «Тристии», а в этой рукописи — драгоценность:

*Золотистого мёда струя
из бутылки стекла
Так тягуче и долго...*

Мандельштам жил в Доме искусств — в комнатке с семью углами. Он лежал на кровати; в окне — замёрзшая Нева. Он курил, жужжал, счастливый, что жужжится, стихи пишутся. Ему выписали свитер. Осип добился, чтоб ему выдали авансом пособие на похоронные расходы.

Не нужно ему никакого стола — лишь бы рядом кто-то был, одиночества он не выносил! Его тянуло в Москву. Осип был влюблён в неё — с того времени, как бросился туда за Мариной. С жильём Мандельштамам повезло: у них комнатка с окнами во двор в левом флигеле Дома Герцена. Можно лежать на полосатом матрасе, брошенном на пол, руки за голову. «Огонёк» печатает его очерки. Портрет Сталина, человека с холодными жёлтыми глазами, на обложке номера «Огонька», где напечатан очерк Мандельштама о холодном лете 1923 года.

К соседу, поэту Ключкову, заходил элегантный Есенин. Мандельштам старше его всего на четыре года, но казался стариком, и Есенин звал его по имени-отчеству.

Безалаберные Мандельштамы потеряли комнату на Тверском, теперь мыкались по углам — Остоженка, Большая Якиманка. Осипа перестали печатать.

На похоронах Ленина они были вместе — Мандельштам, Есенин, Маяковский, Пастернак. Санитары в толпе высматривали обмороженных, растирали их гусиным салом. Все написали о Ленине. Все, кроме Мандельштама.

Ему тридцать три года, он вернулся в свой город. Он встретился с Анной Андреевной, и она сказала: «Читайте Вы первый — я люблю Ваши стихи больше, чем Вы мои». Дома нет, денег нет. Но он опять влюблён — в Лютика, девочку, которую когда-то видел в Коктебеле. Стихи пишутся, и он счастлив. В «Англетере» снял для Лютика номер с камином. У него даже был план — поехать в Париж с Лютиком и Надей. Потом всё кончилось.

Денег нет. Он брал в долг и не отдавал. Последнее дело: под слово Ахматовой взял у её знакомых и не отдал. Надя часто болеет. Дома у них нет. Они жили в Киеве, в Крыму, в Ленинграде, в Царском Селе, в Китайской деревне и в самом лицее. В Ялте он продал боты, чтобы поужинать с вином. Стихи ушли. Значит, надо искать место, где они пишутся.

Удалось найти работу литконсультанта в новой газете «Московский комсомолец». Пишется «Четвёртая проза» — о мужестве писателя. Эту прозу нельзя доверить бумаге. Там есть слова «Запроданы рябому чёрту».

Были мы люди, а стали людье...

Мандельштам собрался писать роман, даже название придумал — «Фагот». Написал «Египетскую марку». А стихов нет! Сколько уж лет — ни строчки.

Бухарин, покровитель, нашёл ему, нелепому, беззубому человеку, место, где пишутся стихи, — Армении. Здесь он обрёл друга — биолога Бориса Кузина. Случайно встретились в прохладной чайхане при Эриванской мечети. В руках московского командированного — молитвенники стихов: «Тристия» и «Поверх барьеров».

— Как здесь хорошо! — сказал Мандельштам...

*Я дружбой был, как выстрелом,
разбужен...*

Стихи вернулись, и Осип Эмильевич боялся спугнуть их. В Москве звонил Кузину: «А я опять стал писать. Какие у меня новые стихи!»

Там, в Армении, расписывался постепенно, мастерски:

Ах, Эривань, Эривань!

*Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя,
из цветного пенала...*

Через сто лет после пушкинских «Бесов» написан «Фазтонщик», в котором «рябой чёрт» чудится в чумном председателе:

*Там, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе...*

Страшно лицо чумного председателя: *Словно розу или жабу
Он берёт своё лицо...
Бог Нахтигаль, меня ещё вербуют
Для новых чум,
для семилетних боен...*